Зигмунд Фрейд
Достоевский и отцеубийство

Многогранную личность Достоевского можно рассматривать с четырех сторон: как писателя, как невротика, как мыслителя - этика и как грешника. Как же разобраться в этой невольно смущающей нас сложности?

Наименее спорен он как писатель, место его в одном ряду с Шекспиром. "Братья Карамазовы" - величайший роман из всех, когда-либо написанных, а "Легенда о Великом Инквизиторе" - одно из высочайших достижений мировой литературы, переоценить которое невозможно. К сожалению, перед проблемой писательского творчества психоанализ должен сложить оружие.

Достоевский скорее всего уязвим как моралист. Представляя его человеком высоконравственным на том основании, что только тот достигает высшего нравственного совершенства, кто прошел через глубочайшие бездны греховности, мы игнорируем одно соображение. Ведь нравственным является человек, реагирующий уже на внутренне испытываемое искушение, при этом ему не поддаваясь. Кто же попеременно то грешит, то, раскаиваясь, ставит себе высокие нравственные цели, - того легко упрекнуть в том, что он слишком удобно для себя строит свою жизнь. Он не исполняет основного принципа нравственности - необходимости отречения, в то время как нравственный образ жизни - в практических интересах всего человечества. Этим он напоминает варваров эпохи переселения народов, варваров, убивавших и затем каявшихся в этом, - так что покаяние становилось техническим примером, расчищавшим путь к новым убийствам. Так же поступал Иван Грозный; эта сделка с совестью характерная русская черта. Достаточно бесславен и конечный итог нравственной борьбы Достоевского. После исступленной борьбы во имя примирения притязаний первичных позывов индивида с требованиями человеческого общества - он вынужденно регрессирует к подчинению мирскому и духовному авторитету - к поклонению царю и христианскому Богу, к русскому мелкодушному национализму, - к чему менее значительные умы пришли с гораздо меньшими усилиями, чем он. В этом слабое место большой личности. Достоевский упустил возможность стать учителем и освободителем человечества и присоединился к тюремщикам; культура будущего немногим будет ему обязана. В этом, по всей вероятности, проявился его невроз, из-за которого он и был осужден на такую неудачу. По мощи постижения и силе любви к людям ему был открыт другой - апостольский - путь служения.

Нам представляется отталкивающим рассматривание Достоевского в качестве грешника или преступника, но это отталкивание не должно основываться на обывательской оценке преступника. Выявить подлинную мотивацию преступления недолго: для преступника существенны две черты безграничное себялюбие и сильная деструктивная склонность; общим для обеих черт и предпосылкой для их проявлений является безлюбовность, нехватка эмоционально-оценочного отношения к человеку. Тут сразу вспоминаешь противоположное этому у Достоевского - его большую потребность в любви и его огромную способность любить, проявившуюся в его сверхдоброте и позволявшую ему любить и помогать там, где он имел бы право ненавидеть и мстить - например, по отношению к его первой жене и её любовнику. Но тогда возникает вопрос - откуда приходит соблазн причисления Достоевского к преступникам? Ответ: из-за выбора его сюжетов, это преимущественно насильники, убийцы, эгоцентрические характеры, что свидетельствует о существовании таких склонностей в его внутреннем мире, а также из-за некоторых фактов его жизни: страсти его к азартным играм, может быть, сексуального растления незрелой девочки ("Исповедь")'. Это противоречие разрешается следующим образом: сильная деструктивная устремленность Достоевского, которая могла бы сделать его преступником, была в его жизни направлена, главным образом, на самого себя (вовнутрь - вместо того, чтобы изнутри) и, таким образом, выразилась в мазохизме и чувстве вины. Все-таки в его

личности немало и садистических черт, выявляющихся в его раздражительности, мучительстве, нетерпимости - даже по отношению к любимым людям, - а также в его манере обращения с читателем; итак: в мелочах он садист вовне, в важном - садист по отношению к самому себе, следовательно, мазохист, и это мягчайший, добродушнейший, всегда готовый помочь человек.

В сложной личности Достоевского мы выделили три фактора - один количественный и два качественных. Его чрезвычайно повышенную аффектив-ность, его устремленность к перверзии, которая должна была привести его к садо-мазохизму или сделать преступником; и его неподдающееся анализу творческое дарование. Такое сочетание вполне могло бы существовать и без невроза: ведь бывают же стопроцентные мазохисты - без наличия неврозов. По соотношению сил - притязании первичных позывов и противоборствующих им торможений (присоединяя сюда возможности сублимирования) - Достоевского все ещё можно было бы отнести к разряду "импульсивных характеров". Но положение вещей затемняется наличием невроза, необязательного, как было сказано, при данных обстоятельствах, но все же возникающего тем скорее, чем насыщеннее осложнение, подлежащее со стороны человеческого "Я" преодолению. Невроз - это только знак того, что "Я" такой синтез не удался, что оно при этой попытке поплатилось своим единством.

В чем же, в строгом смысле, проявляется невроз? Достоевский называл себя сам - и другие также считали его - эпилептиком, на том основании, что он был подвержен тяжелым припадкам, сопровождавшимися потерей сознания, судорогами и последующим упадочным настроением. Весьма вероятно, что эта так называемая эпилепсия была лишь симптомом его невроза, который в таком случае следует определить как истероэпилепсию, то есть, как тяжелую истерию. Утверждать это с полной уверенностью нельзя по двум причинам: во-первых, потому что даты анамнезических припадков так называемой эпилепсии Достоевского недостаточны и ненадежны, а, во-вторых, потому что понимание связанных с эпилептоидными припадками болезненных состояний остается неясным.

Перейдем ко второму пункту. Излишне повторять всю патологию эпилепсии - это не привело бы ни к чему окончательному, - но одно можно сказать: снова и снова присутствует, как кажущееся клиническое целое, извечный morbus sacer, страшная болезнь со своими не поддающимися учету, на первый взгляд неспровоцированными, судорожными припадками, изменением характера в сторону раздражительности и агрессивности и с прогрессирующим снижением всех духовных деятельностей. Однако эта картина, с какой бы стороны мы её ни рассматривали, расплывается в нечто неопределенное. Припадки, проявляющиеся резко, с прикусыванием, усиливающиеся до опасного для жизни status epilepticus, приводящего к тяжкому самокалечению, могут все же в некоторых случаях не достигать такой силы, ослабляясь до кратких состояний абсанса, до быстро проходящих головокружений, и могут также сменяться краткими периодами, когда больной совершает чуждые его природе поступки, как бы находясь во власти бессознательного. Обуславливаясь, в общем, как бы странно это ни казалось, чисто телесными причинами, эти состояния могут первоначально возникать по причинам чисто душевным ,(испуг) или могут в дальнейшем находиться в зависимости от душевных волнений. Как ни характерно для огромного большинства случаев интеллектуальное снижение, но известен, по крайней мере, один случай, когда этот недуг не нарушил высшей интеллектуальной деятельности ,(Гельмгольц). (Другие случаи, в отношении которых утверждалось то же самое, ненадежны или подлежат сомнению, как и случай самого Достоевского). Лица, страдающие эпилепсией, могут производить впечатление тупости, недоразвитости, так как эта болезнь часто сопряжена с ярко выраженным идиотизмом и крупнейшими мозговыми дефектами, не являясь, конечно, обязательной составной частью картины болезни; но эти припадки со всеми своими видоизменениями бывают и у других лиц, у лиц с полным душевным развитием и скорее со сверхобычная, в большинстве случаев, недостаточно управляемой ими аффективностью. Неудивительно, что при таких обстоятельствах невозможно установить совокупность клиническою аффекта "эпилепсии". То, что проявляется в однородности указанных

симптомов, требует, по-видимому, функционального понимания: как если бы механизм анормального высвобождения первичных позывов был подготовлен органически, механизм, который используется при наличии весьма разных условий - как при нарушении мозговой деятельности при тяжком заболевании тканей или токсическом заболевании, так и при недостаточном контроле душевной экономии, кризисном функционировании душевной энергии. За этим разделением на два вида мы чувствуем ндентичность механизма, лежащего в основе высвобождения первичных позывов. Этот механизм недалек и от сексуальных процессов, порождаемых в своей основе токсически; уже древнейшие врачи называли коитус малой эпилепсией и видели в половом акте смягчение и адаптацию высвобождения эпилептического отвода раздражения.

"Эпилептическая реакция", каковым именем можно назвать все это вместе взятое, несомненно также поступает и в распоряжение невроза, сущность которого в том, чтобы ликвидировать соматически массы раздражения, с которыми невроз не может справиться психически. Эпилептический припадок становится, таким образом, симптомом истерии и ею адаптируется и видоизменяется, подобно тому, как это происходит при нормальном течении сексуального процесса.. Таким образом, мы с полным правом различаем органическую и аффективную эпилепсию. Практическое значение этого следующее: страдающий первой - поражен болезнью мозга, страдающий второй невротик. В первом случае душевная жизнь подвержена нарушению извне, во втором случае нарушение является выражением самой душевной жизни.

Весьма вероятно, что эпилепсия Достоевского относится ко второму виду. Точно доказать это нельзя, так как в таком случае нужно было бы включить в целокупность его душевной жизни начало припадков и последующие видоизменения этих припадков, а для этого у нас недостаточно данных. Описания самих припадков ничего не дают, сведения о соотношениях между припадками и переживаниями неполны и часто противоречивы. Всего вероятнее предположение, что припадки начались у Достоевского уже в детстве, что они вначале характеризовались более слабыми симптомами и только после потрясшего его переживания на восемнадцатом году жизни - убийства отца приняли форму эпилепсии'. Было бы весьма уместно, если бы оправдалось то, что они полностью прекратились во время отбывания им каторги в Сибири, но этому противоречат другие указания. Очевидная связь между отцеубийством в "Братьях Карамазовых" и судьбой отца Достоевского бросилась в глаза не одному биографу Достоевского и послужила им указанием на "известное современное психологическое направление". Психоанализ, так как подразумевается именно он, склонен видеть в этом событии тягчайшую травму ив реакции Достоевского на это - ключевой пункт его невроза. Если я начну обосновывать эту установку психоаналитически, опасаюсь, что окажусь непонятным для всех тех, кому незнакомы учение и выражения психоанализа.

У нас (один) надежный исходный пункт. Нам известен смысл первых припадков Достоевского в его юношеские годы - задолго до появления "эпилепсии". У этих припадков было подобие смерти, они назывались страхом смерти и выражались в состоянии летаргического сна. Эта болезнь находила на него вначале - когда он был ещё мальчиком - как внезапная безотчетная подавленность; чувство, как он позже рассказывал своему другу Соловьеву, такое, как будто бы ему предстояло сейчас же умереть; и в самом деле наступало состояние совершенно подобное действительной смерти... Его брат Андрей рассказывал, что Федор уже в молодые годы, перед тем, как заснуть, оставлял записки, что боится ночью заснуть смертоподобным сном и просит поэтому, чтобы его похоронили только через пять дней ("Достоевский за рулеткой", введение, с. LX).

Нам известны смысл и намерение таких припадков смерти. Они означают отождествление с умершим - человеком, который действительно умер, или с человеком живым еще, но которому мы желаем смерти. Второй случай более значителен. Припадок в указанном случае равноценен наказанию. Мы пожелали смерти другому, - теперь мы стали сами этим другим и сами умерли. Тут психоаналитическое учение утверждает, что этот

другой для мальчика обычно отец, и именуемый истерией припадок является, таким образом, самонаказанием за пожелание смерти ненавистному отцу.

Отцеубийство, как известно, основное и изначальное преступление человечества и отдельного человека. Во всяком случае, оно - главный источник чувства вины, неизвестно, единственный ли; исследованиям не удалось ещё установить душевное происхождение вины и потребности искупления. Но отнюдь не существенно - единственный ли это источник. Психологическое положение сложно и нуждается в объяснениях. Отношение мальчика к отцу, как мы говорим, амбивалентно. Помимо ненависти, из-за которой хотелось бы отца, как соперника, устранить, существует обычно некоторая доля нежности к нему. Оба отношения сливаются в идентификацию с отцом, хотелось бы занять место отца, потому что он вызывает восхищение, хотелось бы быть, как он, и потому, что хочется его устранить. Все это наталкивается на крупное препятствие. В определенный момент ребенок начинает понимать, что попытка устранить отца, как соперника, встретила бы со стороны отца наказание через кастрацию. Из страха кастрации, то есть в интересах сохранения своей мужественности, ребенок отказывается от желания обладать матерью и от устранения отца. Поскольку это желание остается в области бессознательного, оно является основой для образования чувства вины. Нам кажется, что мы описали нормальные процессы, обычную судьбу так называемого Эдипова комплекса; следует, однако, внести важное дополнение.

Возникают дальнейшие осложнения, если у ребенка сильнее развит конституционный фактор, называемый нами бисексуальностью. Тогда, под угрозой потери мужественности через кастрацию, укрепляется тенденция уклониться в сторону женственности, более того, тенденция поставить себя на место матери и перенять её роль как объекта любви отца. Одна лишь боязнь кастрации делает эту развязку невозможной. Ребенок понимает, что он должен взять на себя и кастрирование, если он хочет быть любимым отцом, как женщина. Так обрекаются на вытеснение оба порыва, ненависть к отцу и влюбленность в отца. Известная психологическая разница усматривается в том, что от ненависти к отцу отказываются вследствие страха перед внешней опасностью (кастрацией). Влюбленность же в отца воспринимается как внутренняя опасность первичного позыва, которая, по сути своей, снова возвращается к той же внешней опасности.

Страх перед отцам делает ненависть к отцу неприемлемой; кастрация ужасна, как в качестве кары, так и цены любви. Из обоих факторов, вытесняющих ненависть к отцу, первый, непосредственный страх наказания и кастрации, следует назвать нормальным, патогеническое усиление привносится, как кажется, лишь другим фактором - боязнью женственной установки. Ярко выраженная бисексуальная склонность становится, таким образом, одним из условий или подтверждений невроза. Эту склонность, очевидно, следует признать и у Достоевского, - и она (латентная гомосексуальность) проявляется в дозволенном виде в том значении, какое имела в его жизни дружба с мужчинами, в его до странности нежном отношении к соперникам в любви и в его прекрасном понимании положений, объяснимых лишь вытесненной гомосексуальностью, - как на это указывают многочисленные примеры из его произведений.

Сожалею, но ничего не могу изменить, - ее ли подробности о ненависти и любви к отцу и об их видоизменениях под влиянием угрозы кастрации несведущему в психоанализе. читателю покажутся безвкусными и маловероятными. Предполагаю, что именно комплекс кастрации будет отклонен сильнее всего. Но смею уверить, что психоаналитический опыт ставит именно эти явления вне всякого сомнения и находит в них-ключ к любому неврозу. Испытаем же его в случае так называемой эпилепсии нашего писателя. Но нашему сознанию так чужды те явления, во власти которых находится наша бессознательная психическая жизнь! Указанным выше не исчерпываются в Эдиповом комплексе последствия вытеснения ненависти к отцу. Новым является то, что в конце концов отождествление с отцом завоевывает в нашем "Я" постоянное место. Это отождествление воспринимается нашим "Я", но представляет собой в нем особую инстанцию, противостоящую остальному содержанию нашего "Я". Мы называем тогда эту инстанцию нашим "Сверх-Я" и приписываем ей,

наследнице родительского влияния, наиважнейшие функции.

Если отец был суров, насильствен, жесток, наше "Сверх-Я" перенимает от него эти качества, и в его отношении к "Я" снова возникает пассивность, которой как раз надлежало бы быть вытесненной. "Сверх-Я" стало садистическим, "Я" становится мазохистским, то есть в основе своей - женственно-пассивным. В нашем "Я" возникает большая потребность в наказании, и "Я" отчасти отдает себя, как таковое, в распоряжение судьбы, отчасти же находит удовлетворение в жестоком обращении с ним "Сверх-Я" (сознание вины). Каждая кара является ведь, в основе своей, кастрацией и, как таковая, - осуществлением изначального пассивного отношения к отцу. И судьба, в конце концов, - лишь дальнейшая проекция отца.

Нормальные явления, происходящие при формировании совести, должны походить на описанные здесь анормальные. Нам ещё не удалось установить разграничения между ними. Замечается, что наибольшая роль здесь в конечном итоге приписывается пассивным элементам вытесненной женственности. И еще, как случайный фактор, имеет значение, является ли внушающий страх отец и в действительности особенно насильственным. Это относится к Достоевскому факт его исключительного чувства вины, равно как и мазохистского образа жизни, мы сводим к его особенно ярко выраженному компоненту женственности. Достоевского можно определить следующим образом: особенно сильная бисексуальная предрасположенность и способность с особой силой защищаться от зависимости от чрезвычайно сурового отца. Этот характер бисексуальности мы добавляем к ранее узнанным компонентам его существа. Ранний симптом "припадков смерти" можно рассматривать как отождествление своего "Я" с отцом, допущенное в качестве наказания со стороны "Сверх-Я". Ты захотел убить отца, дабы стать отцом самому. Теперь ты - отец, но отец мертвый; обычный механизм истерических симптомов И к тому же: теперь тебя убивает отец. Для нашего "Я" симптом смерти является удовлетворением фантазии мужского желания и одновременно мазохистским посредством наказания, то есть садистическим удовлетворением. Оба, "Я" и "Сверх-Я", играют роль отца и дальше. - В общем, отношение между личностью и объектом отца, при сохранении его содержания перешло в отношение между "Я" и "Сверх-Я", новая инсценировка на второй сцене. Такие инфантильные реакции Эдипова комплекса могут заглохнуть, если действительность не дает им в дальнейшем пищи. Но характер отца остается тем же самым, нет, он ухудшается с годами, - таким образом продолжает оставаться и ненависть Достоевского к отцу, желание смерти этому злому отцу. Становится опасным, если такие вытесненные желания осуществляются на деле. Фантазия стала реальностью, все меры защиты теперь укрепляются. Припадки Достоевского принимают теперь эпилептический характер, - они все ещё означают кару за отождествление с отцом. Но они стали теперь ужасны, как сама страшная смерть самого отца. Какое содержание, в особенности сексуальное, они в дополнение к этому приобрели, угадать невозможно.

Одно примечательно: в ауре припадка переживается момент величайшего блаженства, который, весьма вероятно, мог быть зафиксированием триумфа и освобождения при получении известия о смерти, после чего тотчас последовало тем более жестокое наказание. Такое чередование триумфа и скорби, пиршества и печали, мы видим и у братьев природы, убивших отца, и находим его повторение в церемонии тотемической трапезы. Если правда, что Достоевский в Сибири не был подвержен припадкам, то это лишь подтверждает то, что его припадки были его карой. Он более в них не нуждался, когда был караем иным образом, - но доказать это невозможно. Скорее этой необходимостью в наказании для психической экономии Достоевского объясняется то, что он прошел несломленным через эти годы бедствий и унижений. Осуждение Достоевского в качестве политического преступника было несправедливым, и он должен был это знать, но он принял это незаслуженное наказание от батюшки-царя - как замену наказания, заслуженного им за свой грех по отношению к своему собственному отцу. Вместо самонаказания он дал себя наказать заместителю отца. Это дает нам некоторое представление о психологическом оправдании наказаний, присуждаемых

обществом. Это на самом деле так: многие из преступников жаждут наказания Его требует их "Сверх-Я", избавляя себя таким образом от самонаказания.

Тот, кто знает сложное и изменчивое значение истерических симптомов, поймет, что мы здесь не пытаемся добиться смысла припадков Достоевского во всей полноте'. Достаточно того, что можно предположить, что их первоначальная сущность осталась неизменной, несмо1ря на все последующие наслоения. Можно сказать, что Достоевский так никогда и не освободился от угрызений совести в связи с намерением убить отца. Это лежащее на совести бремя определило также его отношение к двум другим сферам, покоющимся на отношении к отцу - к государственному авторитету и к вере в Бога. В первой он пришел к полному подчинению батюшке-царю, однажды разыгравшему с ним комедию убийства в действительности, - находившую столько раз отражение в его припадках. Здесь верх взяло покаяние. Больше свободы оставалось у него в области религиозной - по не допускающим сомнений сведениям он до последней минуты своей жизни все колебался между верой и безбожием. Его высокий ум не позволял ему не замечать те трудности осмысливания, к которым приводит вера. В индивидуальном повторении мирового исторического развития он надеялся в идеале Христа найти выход и освобождение от грехов - и использовать свои собственные страдания, чтобы притязать на роль Христа. Если он, в конечном счете, не пришел к свободе и стал реакционером, то это объясняется тем, что общечеловеческая сыновняя вина, на которой строится религиозное чувство, достигла у него сверхиндивидуальной силы и не могла быть преодолена даже его высокой интеллектуальностью. Здесь нас, казалось бы, можно упрекнуть в том, что мы отказываемся от беспристрастности психоанализа и подвергаем Достоевского оценке, имеющей право на существование лишь с пристрастной точки зрения определенного мировоззрения. Консерватор стал бы на точку зрения Великого Инквизитора и оценивал бы Достоевского иначе. Упрек справедлив, для его смягчения можно лишь сказать, что решение Достоевского вызвано, очевидно, затрудненностью его мышления вследствие невроза.

Едва ли простой случайностью можно объяснить, что три шедевра мировой литературы всех времен трактуют одну и ту же тему - тему отцеубийства: "Царь Эдип" Софокла, "Гамлет" Шекспира и "Братья Карамазовы" Достоевского. Во всех трех раскрывается и мотив деяния, сексуальное соперничество из-за женщины. Прямее всего, конечно, это представлено в драме, основанной на греческом сказании. Здесь деяние совершается ещё самим героем. Но без смягчения и завуалирования поэтическая обработка невозможна. Откровенное признание в намерении убить отца, какого мы добиваемся при психоанализе, кажется непереносимым без аналитической подготовки. В греческой драме необходимое смягчение при сохранении сущности мастерски достигается тем, что бессознательный мотив героя проецируется в действительность как чуждое ему принуждение, навязанное судьбой. Герой совершает деяние непреднамеренно и по всей видимости без влияния женщины, и все же это стечение обстоятельств принимается в расчет, так как он может завоевать царицу-мать только после повторения того же действия в отношении чудовища, символизирующего отца. После того, как обнаруживается и оглашается его вина, не делается никаких попыток снять её с себя, взвалить её на принуждение со стороны .судьбы; наоборот, вина признается - и как всецелая вина наказывается, что рассудку может показаться несправедливым, но психологически абсолютно правильно. В английской драме это изображено более косвенно, поступок совершается не самим героем, а другим, для которого этот поступок не является отцеубийством. Поэтому предосудительный мотив сексуального соперничества у женщины не нуждается в завуалировании. Равно и Эдипов комплекс героя мы видим как бы в отраженном свете, так как мы видим лишь то, какое действие производит на героя поступок другого. Он должен был бы за этот поступок отомстить, но странным образом не в силах это сделать. Мы знаем, что его расслабляет собственное чувство вины: в соответствии с характером невротических явлений происходит сдвиг, и чувство вины переходит в осознание своей неспособности выполнить это задание. Появляются признаки того, что герой воспринимает эту вину как сверхиндивндуальную. Он презирает других не

менее, чем себя. "Если обходиться с каждым по заслугам, кто уйдет от порки?". В этом направлении роман русского писателя уходит на шаг дальше. И здесь убийство совершено другим человеком, однако, человеком, связанным с убитым такими же сыновними отношениями, как и герой Дмитрий, у которого мотив сексуального соперничества откровенно признается, совершено другим братом, которому, как интересно заметить, Достоевский передал свою собственную болезнь, якобы эпилепсию, тем самым как бы желая сделать признание, что, мол, эпилептик, невротик во мне - отцеубийца. И, вот, в речи защитника на суде - та же известная насмешка над психологией: она, мол, палка о двух концах. Завуалировано великолепно, так как стоит все это перевернуть - и находишь глубочайшую сущность восприятия Достоевского. Заслуживает насмешки отнюдь не психология, а судебный процесс дознания. Совершенно безразлично, кто этот поступок совершил на самом деле, психология интересуется лишь тем, кто его в своем сердце желал и кто по его совершении его приветствовал, - и поэтому - вплоть до контрастной фигуры Алеши - все братья равно виновны: движимый первичными позывами искатель наслаждений, полный скепсиса циник и эпилептический преступник. В "Братьях Карамазовых" есть сцена, в высшей степени характерная для Достоевского. Из разговора с Дмитрием старец постигает, что Дмитрий носит в себе готовность к отцеубийству, и бросается перед ним на колени. Это не может являться выражением восхищения, а должно означать, что святой отстраняет от себя искушение исполниться презрением к убийце или им погнушаться, и поэтому перед ним смиряется. Симпатия Достоевского к преступнику действительно безгранична, она далеко выходит за пределы сострадания, на которое несчастный имеет право, она напоминает благоговение, с которым в древности относились к эпилептику и душевнобольному. Преступник для него - почти спаситель, взявший на себя вину, которую в другом случае несли бы другие. Убивать больше не надо, после того, как он уже убил, но следует ему быть благодарным, иначе пришлось бы убивать самому. Это не одно лишь доброе сострадание, это отождествление на основании одинаковых импульсов к убийству, собственно говоря, лишь в минимальной степени смещенный нарциссизм. Этическая ценность этой доброты этим не оспаривается. Может быть, это вообще механизм нашего доброго участия по отношению к другому человеку, особенно ясно проступающий в чрезвычайном случае обремененного сознания своей вины писателя. Нет сомнения, что эта симпатия по причине отождествления решительно определила выбор материала Достоевского. Но сначала он, - из эгоистических побуждений, - выводил обыкновенного преступника, политического и религиозного, прежде чем к концу своей жизни вернуться к первопреступнику, к отцеубийце, - и сделать в его лице свое поэтическое признание.

Опубликование его посмертного наследия и дневников его жены ярко осветило один эпизод его жизни, то время, когда Достоевский в Германии был обуреваем игорной страстью ("Достоевский за рулеткой"). Явный припадок патологической страсти, который не поддается иной оценке ни с какой стороны. Не было недостатка в оправданиях этого странного и недостойного поведения. Чувство вины, как это нередко бывает у невротиков, нашло конкретную замену в обремененности долгами, и Достоевский мог отговариваться тем, что он при выигрыше получил бы возможность вернуться в Россию, избежав заключения в тюрьму кредиторами. Но это. был только предлог, Достоевский был достаточно проницателен, чтобы это понять, и достаточно честен, чтобы в этом признаться. Он знал, что главным была игра сама по себе,' le jeu pour le jeu1. Все подробности его обусловленного первичными позывами безрассудного поведения служат тому доказательством, и ещё кое-чему иному. Он не успокаивался, пока не терял всего. Игра была для него также средством самонаказания. Несчетное количество раз давал он молодой жене слово или честное слово больше не играть или не играть в этот день, и он нарушал это слово, как она рассказывает, почти всегда. Если он своими проигрышами доводил себя и её до крайне бедственного положения, это служило для него ещё одним патологическим удовлетворением. Он мог перед нею поносить и унижать себя, просить её презирать его, раскаиваться в том, что она вышла замуж за него, старого грешника, - и после всей этой

разгрузки совести на следующий день игра начиналась снова. И молодая жена привыкла к этому циклу, так как заметила, что то, от чего в действительности только и можно было ожидать спасения, - писательство, - никогда не продвигалось вперед лучше, чем после потери всего и закладывания последнего имущества. Связи всего этого она, конечно, не понимала. Когда его чувство вины было удовлетворено наказаниями, к которым он сам себя приговорил, тогда исчезала затрудненность в работе, тогда он позволял себе сделать несколько шагов на пути к успеху'.

Рассматривая рассказ более молодого писателя, нетрудно угадать, какие давно позабытые детские переживания находят выявления в игорной страсти. У Стефана Цвейга, посвятившего, между прочим, Достоевскому один из своих очерков ("Три мастера"), в сборнике "Смятение чувств" есть новелла "Двадцать четыре часа в жизни женщины". Этот маленький шедевр показывает как будто лишь то, каким безответственным существом является женщина и на какие удивительные для неё самой закононарушения её толкает неожиданное жизненное впечатление. Но новелла эта, если подвергнуть её психоаналитическому толкованию, говорит, однако, без такой оправдывающей тенденции гораздо больше, показывает совсем иное, общечеловеческое, или, скорее, общемужское, и такое толкование столь явно подсказано, что нет возможности его не допустить. Для сущности художественного творчества характерно, что писатель, с которым меня связывают дружеские отношения, в ответ на мои расспросы утверждал, что упомянутое толкование ему чуждо и вовсе не входило в его намерения, несмотря на то, что в рассказ вплетены некоторые детали, как бы рассчитанные на то, чтобы указывать на тайный след. В этой новелле великосветская пожилая дама поверяет писателю о том, что ей пришлось пережить более двадцати лет тому назад. Рано овдовевшая, мать двух сыновей, которые в ней более не нуждались, отказавшаяся от каких бы то ни было надежд, на сорок втором году жизни она попадает - во время одного из своих бесцельных путешествий - в игорный зал монакского казино, где среди всех диковин её внимание приковывают две руки, которые с потрясающей непосредственностью и силой отражают все переживаемые несчастным игроком чувства. Руки эти - руки красивого юноши (писатель как бы безо всякого умысла делает его ровесником старшего сына наблюдающей за игрой женщины), потерявшего все и в глубочайшем отчаянии покидающего зал, чтобы в парке покончить со своею безнадежной жизнью. Неизъяснимая симпатия заставляет женщину следовать за юношей в предпринять все для его спасения. Он принимает её за одну из многочисленных в том городе навязчивых женщин и хочет от неё отделаться, но она не покидает его и вынуждена, в конце концов, в силу сложившихся обстоятельств, остаться в его номере отеля и разделить его постель. После этой импровизированной любовной ночи она велит казалось бы успокоившемуся юноше дать ей торжественное обещание, что он никогда больше не будет играть, снабжает его деньгами на обратный путь и со своей стороны дает обещание встретиться с ним перед уходом поезда на вокзале. Но затем в ней пробуждается большая нежность к юноше, она готова пожертвовать 'всем, чтобы только сохранить его для себя, и она решает отправиться с ним вместе в путешествие - вместо того, чтобы с ним проститься. Всяческие помехи задерживают её, и она опаздывает на поезд; в тоске по исчезнувшему юноше она снова приходит в игорный дом - и с возмущением обнаруживает там те же руки, накануне возбудившие в ней такую горячую симпатию; нарушитель долга вернулся к игре. Она напоминает ему об его обещании, но одержимый страстью, он бранит сорвавшую его игру, велит ей убираться вон и швыряет деньги, которыми она хотела его выкупить. Опозоренная, она покидает город, а впоследствии узнает, что ей не удалось спасти его от самоубийства.

Эта блестяще и без пробелов в мотивировке написанная новелла имеет, конечно, право на существование как таковая - и не может не произвести на читателя большого впечатления. Однако психоанализ учит, что она возникла на основе умопострояемого вожделения периода полового созревания, о каковом вожделении некоторые вспоминают совершенно сознательно, Согласно умопострояемому вожделению, мать должна сама ввести юношу в половую жизнь для спасения его от заслуживающего опасения вреда онанизма. Столь частые

сублимирующие художественные произведения вытекают из того же первоисточника. "Порок" онанизма замещается пороком игорной страсти, ударение, поставленное на страстную деятельность рук, предательски свидетельствует об этом отводе энергии. Действительно, игорная одержимость является эквивалентом старой потребности в онанизме, ни одним словом, кроме слова "игра", нельзя назвать производимые в детской манипуляции половых органов. Непреоборимость соблазна, священные и все-таки никогда не сдерживаемые клятвы никогда более этого не делать, дурманящее наслаждение и нечистая совесть, говорящая нам, что мы будто бы сами себя губим (самоубийство), - все это при замене осталось неизменным. Правда, новелла Цвейга ведется от имени матери, а не сына. Сыну должно быть лестно думать: если мать знала бы, к каким опасностям приводит онанизм, она бы, конечно, уберегла меня от них тем, что отдала бы моим ласкам свое собственное тело. Отождествление матери с девочкой, производимое юношей в новелле Цвейга, является составной частью той же фантазии. Оно делает недосягаемое легко достижимым; нечистая совесть, сопровождающая эту фантазию, приводит к дурному исходу новеллы. Интересно отметить, что внешнее оформление, данное писателем новелле, как бы прикрывает её психоаналитический смысл. Ведь весьма оспорим, что любовная жизнь женщины находится во власти внезапных и загадочных импульсов. Анализ же вскрывает достаточную мотивацию удивительного поведения женщины, до тех пор отворачивавшейся от любви. Верная памяти утраченного супруга, она была вооружена против любых притязаний, напоминающих любовные притязания мужа, однако - ив этом фантазия сына оказывается правомерной - она не может избежать совершенно неосознаваемого ею перенесения любви на сына, и в этом-то незащищенном месте её и подстерегает судьба. Если игорная страсть и безрезультатные стремления освободиться от неё и связанные с нею поводы к самонаказанию являются повторением потребности в онанизме, нас не удивит, что она завоевала в жизни Достоевского столь большое место. Нам не встречалось ни одного случая тяжкого невроза, где бы автоэротическое удовлетворение раннего периода и периода созревания не играло бы определенной роли, и связь между попытками его подавить и страхом перед отцом слишком известна, чтобы заслужить что-нибудь большее, чем упоминание.